

1

Летом тысяча девятьсот девятнадцатого года ветер с океана приносил короткие ливни, солнце сквозь разрывы облаков освещало мокрые асфальты Парижа, бульвары, каштановые аллеи, аспидные крыши, полосатые парусины над столиками кабачков, потоки потрепанных автомобилей, снова вернувшихся с полей войны к услугам парижан и иностранцев.

Город испускал сложное благоухание. Центральные бульвары пахли бензином и духами; боковые улочки — ванилью, овощами, винными лавками, непрветренными постелями; гигантские железостеклянные рынки — всеми дарами моря и земли. В старых, взбирающихся на холмы извилистых улицах, где жили те, чье мускульное напряжение наполняло город золотом и роскошью, пахло жареной картошкой, мокрыми опилками кабачков, ацетиленовыми фонарями уличных палаток, где жарились вафли и крутились пестрые рулетки.

Ветер с востока, с полей войны, разгонял пленительную лазурь полутеней, солнце жгло зеркальный асфальт, сухо шелестела каштановая листва, лоснились потом проборы у толстеньких гарсонов, смахи-

вающих салфетками пыль с мраморных столиков на тротуарах, нездоровье проступало на женских лицах, заgrimированных с послевоенной решительностью, нехорошее возбуждение — на лицах юношей, свиновая усталость — под седыми усами у стариков.

Ветер с полей войны, где под тонким слоем земли еще не кончили разлагаться пять миллионов трупов промежуточного поколения французов, немцев, англичан, африканцев, нагонял на город тление. Оно приносило странные заболевания, поражавшие Париж комбинированными карбункулами, рожей, гнилостными воспалениями, нарывами под ногтями, неизученными формами сыпи.

Мертвые, как могли, участвовали в виде стрептококковой пыли в послевоенном празднике живых. Слезы все были пролиты, траур остался лишь в черных оттенках мужских галстуков, женщины обнажились по пояс, и город с часу дня до розовой зари надрывающе пел саксофонами.

Всюду, где был квадратный метр свободной площади, взывала стальная пластинка флексотона, мурлыкала скрипка, хрипела кривая дудка, стучали дощечки, бухал турецкий барабан, и демобилизованный, плотно прижимая к себе растопыренными пальцами женщину, шаркал и шаркал подошвами...

Каждый демобилизованный не прочь был бы устроить веселенькое побоище по возвращении с войны. В конце концов, куда дураки сидели в окопах, умные не теряли времени в тылу. Но власть предоставила вернувшимся «защитникам отечества» лишь мирным путем отыскивать себе место в жизни. Все было ново, потрясено, сдвинулось, перемешалось. Франк падал, цены росли.

Руки, привыкшие к винтовке, нелегко протягивались в окошечко кассира за скудной субботней выручкой. Что ни говори о прекрасной родине, а ухлопать такую уйму народа, чтобы вновь одним — с парусиновым свертком инструментов на плече благонамеренно шагать в дымах рассвета к гудкам кирпичных корпусов, другим — проноситься по тем же мостовым в шикарных машинах (сонные морды, завядшие бутоньерки, смятые груди смокингových рубашек), — тут можно было задуматься: «Так что же, выходит — ты чужое счастье купил своей кровью? Дурак же ты, Жак!»

Правительство, обеспокоенное настроениями рабочих кварталов, стремилось сгладить остроту: около миллиарда франков было отпущено на стабилизацию цены на превосходный белый хлеб. Двести тысяч франков взлетело вечером четырнадцатого июля с мостов Парижа пышными ракетами, огненными дождями, павлиньими хвостами в черно-лиловое небо. Ежедневно все восемьдесят столичных газет раскрывали таинственные преступления, жуткие убийства — трупы в багажных корзинах, головы, выловленные в Сене. Удалось потрясти воображение сексуально-кровавым процессом Ландрю: этот второй Рауль Синяя Борода заманил на свою дачу двенадцать женщин, ограбил, задушил и сжег их в печи. Ландрю казнили в Версале, куда устремились еще с вечера толпы шикарных парижан. Коротая теплую ночь на площади перед гильотиной, они веселились, как дети. Звезда эстрады, Мистангет, плясала на верху лимузина. На рассвете палач, в черном сюртуке, в цилиндре, появился рядом с двумя столбиками, где наверху поблескивал треугольник

ножа, — палач дал знак. Из тюрьмы выволокли упирающегося лысого человека со всклокоченной черной бородой... Несколько секунд — и он привязан под ножом, он вздрагивает икрами. Палач нажимает кнопку, глухой стук ножа, голова Ландрю отскакивает в корзину. Туда же палач, сняв осторожно, бросил белые перчатки. Приподнял цилиндр. Рукоплескания...

Организованы были экскурсии на развороченные поля сражений, где торчали обломки городов и ряды деревянных крестов пропадали за горизонтом. Ни травинки, ни птиц, ни насекомых — почва была еще пропитана нарывным газом. За двадцать франков можно было поглядеть на места гибели пяти миллионов человек.

Эти экскурсии подготовляли общественное мнение: Совет Десяти медлил с подписанием мира, — Германию ожидала суровая кара. Двадцать семь стран и народов, воевавших против Германии, послали представителей на Парижскую мирную конференцию, в ней выделилось ядро из пяти великих держав — Совет Десяти. Во главе стоял президент США — Вудро Вильсон. Он привез из Вашингтона четырнадцать пунктов вечного мира для человечества. Эти четырнадцать заповедей из страны, которая загрэбла все золото Европы, должны были восстановить дух христианства, мирные рынки и свободу торговли на суше и море.

Четыре остальные державы — Франция (представитель Жорж Клемансо), Англия (Ллойд-Джордж), Италия (барон Сонино) и Япония (барон Макино) — готовились вонзить зубы в колонии и богатства Германии и ее союзниц. Их волчий аппетит президент

Вильсон упрямо пытался ограничить бесплодными, как англосаксонское воскресенье, проповедями о победе добра над злом. Премьер-министры четырех держав задыхались от негодования. Не подымайся за его спиной из-за океана такая распухшая золотом машина — США, они давно бы вышвырнули за дверь этого божьего посланника с его квакерской шляпой и тощими брюками.

Непримиримее всех, мстительнее, жаднее была Франция. Она готовилась к огромному индустриальному подъему: приобретая Эльзас и Лотарингию, оккупируя угольные богатства Рейна, захватывая африканские колонии, Франция намеревалась занять место Германии в промышленности.

С первых же заседаний Совета Десяти Франция повела линию на завоевание мира. Восемидесятилетний «национальный тигр», злой и злопамятный Жорж Клемансо предоставил Вильсону бороться сколько влезет за торжество добра и ждал, когда он всем опротивеет. Клемансо разрабатывал французский мир: двести миллиардов долларов германских репараций (по три тысячи долларов с каждой немецкой души), провинции, Рейн, колонии, раздел Турции, создание и вооружение «великой» Польши, наконец, большой военный поход на восток Европы: Берлин—Москва. Словом — возобновление империи Наполеона I.

Восток особенно тревожил французских буржуа. Красная зараза могла испортить все дело. Уже Германия и Венгрия сотрясались от революционных бурь. Галицийцы, бунтуя против польских панов, осаждали Львов. Итальянские рабочие выбили медаль с профилем Ленина. Славяне бывшей Австрии

казались ненадежными. Никто не мог поручиться (так говорил Ллойд-Джордж), что вся Восточная Европа, охваченная большевистским безумием, не двинет на Париж стомиллионную Красную армию.

Когда Вильсон, длинный, розовый, седой, похожий на пастора, говорил о разоружении народов и милосердии к врагам, Жорж Клемансо только лающе покашливал, и косматые брови его нависали плотским ужасом над призрачными идеями президента. По существу он опасался одной только Англии.

Прошло уже восемь месяцев с окончания войны. Банкеты, праздники и фейерверки сопровождали каждый шаг мировой конференции. Журналисты обшаривали Париж в поисках таинственной особы, с которой веселился Вильсон. Старик был дьявольски скрытен, — несомненно он веселился, и всю, — он худел, у него дергалось лицо на заседаниях, он волочил ноги. Ребенку было ясно, что он где-то проводит ночи в чудовищном разврате. Когда об этих предположениях сообщили Клемансо, он в первый раз за восемь месяцев усмехнулся, зажмурил глаза, седые усы приподнялись, лицо сморщилось, как у тигра, увидевшего мышь.

Мир все еще не был подписан. Союзный флот продолжал блокаду Германии. Немцы питались сырой брюквой и десятками тысяч умирали от истощения. Никто не знал, чем окончатся заседания конференции. Война могла возобновиться. От нее охраняли только четырнадцать пунктов Вильсона. Доходили слухи, что в Америке деловые люди хмурятся, как от сделанной глупости: Вильсон ставил соотечественников в смешное положение, — чего

поди, в Европе начнут думать, что США населены одними мечтателями... Вокруг Вильсона образовалась пустота... Тогда-то Жорж Клемансо ознакомил Совет Десяти с основами французских мирных требований.

Четырнадцать пунктов летели к черту. Президент возмутился и пригрозил отъездом. Но он не уехал. Он хотел спасти хотя бы осколок идеалистической философии — Лигу Наций. Он отчаянно боролся. Лига Наций была провозглашена, тогда он уступил во всем, отдав европейские народы на растерзание. Франция победила. В Версаль затребовали немецких представителей, чтобы вручить им на рассмотрение мирный договор.

В безоблачное утро седьмого мая германский министр иностранных дел — граф Брокдорф-Ранцау (в черном, черных перчатках, с черной тростью), высокий, замкнутый, вошел с пятью представителями в белый зал Версальского дворца. Немцы увидели потоки солнечного света сквозь переплеты высоких окон. Свет и зелень лужаек, шпалер, синева фонтанов отражались в старинных зеркалах противоположной стены; казалось, солнце мира летело в восемь оконных пролетов. Там, где некогда помещался трон Людовика XIV, короля солнца, за столом, завершающим амфитеатром расположенные золотые кресла, сидел Клемансо в темно-серой стариковской визитке — коренастый, с угловатыми плечами; опухшие руки в серых перчатках сжаты в кулаки, квадратное лицо топорщилось белыми бровями, пожелтевшими усами. Направо от него — высохший президент Вильсон, налево — приветливо улыбающийся, франтоватый,

румяный, седогривый Ллойд-Джордж с опущенными на губу седыми усами и хищным носом. Ниже — в креслах — пестрые представители двадцати семи стран и народов, посланных купечеством урвать, что можно...

«Господа делегаты Германского государства. Здесь не место для лишних слов... Вы навязали нам войну... Мы принимаем меры, чтобы подобной войны более не повторилось... — так заговорил Жорж Клемансо, тяжело дыша от ярости. — Час расплаты настал. Вы просили нас о мире, мы согласны вам предложить его...»

После его речи секретарь конференции с изящным поклоном поднес графу Брокдорфу-Ранцау книгу в триста печатных страниц, переплетенную в белый сафьян, — условия мира. Ранцау бросил на нее черные перчатки, надел роговые очки, разобрал листочки ответной речи. Он знал, что слова бесполезны — одну только силу можно было противопоставить этому купающемуся в солнце амфитеатру разбойников... Но этой силы у него не было.

Пятьдесят два дня спустя в том же зале Версаля к инкрустированному, на изогнутых ножках, столу подошел Клемансо, привычным движением матерого журналиста обмакнул золотое в золотой ручке перо, стряхнул, — черная капля как бы понеслась мимо чернильницы в мутную бездну воспоминаний («в семидесятом году в Бордо я поклялся отомстить пруссакам, — я мщу»), — и он подписал...

Шестьдесят миллионов немцев упали на колени. Из-за Рейна во Францию — день и ночь, день и ночь — потянулись тоскливо длинные поезда с углем, сырьем, пушками, машинами. Тощие, с земли-

стыми щеками немцы, костлявые немки, дети, покрытые болячками, глядели вслед этим поездам, вслед улетающей на долгие годы надежде поесть, отдохнуть... На Германию опускалась ночь, озаренная заревом с востока. Но для тех, кто правил Германией, этот отблеск был страшнее ночи.

2

Французское правительство пышно отпраздновало переход к мирной жизни по древнеримскому обычаю — триумфом.

В центре Парижа — на площади Согласия, вдоль широкой аллеи Елисейских Полей и на площади Звезды вокруг приземистой арки Наполеона — навалены были кучами (с трехэтажные дома) немецкие заржавленные пушки. Повсюду торчали высокие жерди в форме средневековых копий, спирально перевитые лентами. Между ними висели гирлянды цветов из желтой бумаги... Одна из сидящих каменных статуй на площади Согласия — статуя города Страсбурга, пятьдесят четыре года покрытая трауром, — сегодня утопала в знаменах.

Августовский день был зноен и сух. В бледном небе, сверкая, кружились аэропланы. С голых ветвей каштанов падали последние сухие листья. Между шестов и бумажных роз по этой страшной аллее войны, похожей на обгорелый лес, несли впереди войск полусгнивший труп без лица — неизвестного солдата. Могила ему была вырыта под триумфальной аркой Наполеона. Играли рожки, били барабаны. Из-за Сены, из горячей мглы, стреляли пушки. Республика отдавала воинские почести народу: каж-

дый бедняк теперь вправе думать, что в центре столицы мира, под аркой Звезды, лежит его брат, его сын, пропавший без вести. Человеческие потоки медленно двигались за войсками. Тончайшая пыль поднималась от мостовых, ложилась на миллионы лиц, обозначая морщины усталости, опустошения, невозвратимых утрат. Кое-где пробегала молодежь, взявшись за руки... Но разве это было веселье? За все муки — подарить народу гнилой труп без лица! Веселились всю лишь американские солдаты — сытые жеребцы, шатались под руку с девчонками, нахлобучив их шляпки себе на железные шлемы...

Вечером над черной Сеной взвились потешные огни. В рабочих кварталах завертелись карусели, отражая миллионами зеркалец хмурые пыльные лица. По опустевшим улицам поползли на колесиках четырехугольные рамы с зажженными плашками, за ними ковыляли безногие, безрукие, безглазые, — это инвалиды войны собирали милостыню. На перекрестках играли уличные оркестрики. Но Парижу не плясалось в этот душный, безветренный вечер. Сидя на стульях у порогов своих домов, у кофеен, на скамейках бульваров, люди поглядывали на лиловое зарево над городом, на догорающие кое-где за рекой линии иллюминаций, на огоньки Эйфелевой башни. «Эх, Жак, не думаешь ли ты, что кто-то здорово надул тебя сегодня?..»

Немецкие миллиарды поплывут мимо носа, прямо в банки Больших бульваров. Краснеют огоньки папирос у дверей, тихо бредут по домам неясные в темноте фигуры... Вот когда сказала старость... Дикой бы крови сюда. Великих бы замыслов — в этот прекраснейший из городов...

Около часу дня на Елисейских Полях (где уже убрали шесты и пушки) в кафе Фукъец, посещаемое иностранцами, вошел человек, одетый по моде, завезенной американцами: короткий пиджак с подложенными плечами, широкие штаны, полубашмаки с острыми носками, глубоко — набок — надвинутая мягкая шляпа, галстук бабочкой, в руке камышовая трость, в кармане полузасунуты свежие перчатки.

Он быстро прошел через первый зал с накрытыми для завтрака столиками, спустился на две ступеньки и положил трость и окурок сигары на цинковый прилавок бара.

— Что угодно, мосье?

— Степную устрицу.

За стойкой усатый тучный красавец в белой куртке начал готовить смесь из джина, томатного соуса, кабуля, кайенского перца и сырого желтка. Человек сел на высокий табурет, загнув за дубовые ножки носки туфель; впавшие сизо-выбритые щеки, прямой рот, быстрые глаза. На мизинце веснушчатой руки — крупный бриллиант.

Человек был не из тех, кто любит болтать всякий вздор за стойкой. Глотнув адской смеси, он сильно потянул ноздрями кривого носа и, повернувшись всем телом на высокой табуретке, стал глядеть на дверь. Он ожидал кого-то. Веки его время от времени полузакрывались, увлажняя сухость глаз.

И вот с тротуара в бар забежал человек, настолько странный, что бармен за стойкой высоко морщинами собрал кожу на лбу.